

Николай Семёнович Лесков

**Из одного дорожного
дневника**



Николай Семёнович Лесков
Из одного дорожного дневника

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175503

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

65

Николай Лесков

Из одного дорожного дневника

6-го сентября 1862 года.

Известный господин фон Шнабелевопский уверяет в своих записках, что его мистическое стремление к осуществлению аграрных законов в новейшей форме произошло не вследствие некоторых особенностей его дородового развития. Он объясняет в себе это стремление тем, что его родительница, нося его в своем чреве, постоянно читала Плу-тарха и, может быть, заинтересовалась одним из его великих мужей. Господин фон Шнабелевопский полагает, что если бы в этот многозначительный период матушка его читала жизнеописание Картуша, то он, может быть, сделался бы знаменитым банкиром, а сделавшись известным банкиром, г. фон Шнабелевопский, разумеется, мог бы быть и министром финансов; но в то время, как г. фон Шнабелевопский писал свои поучительные записки, знаменитый парижский банкир г. Фульд не был знаменитым министром. Высокие мнения г. фон Шнабелевопского имели на меня такое большое влияние, что я перестал смотреть на людей как на независимых, самостоятельных деятелей и все их поступки, нравы и направления объясняю обстоятельствами, происшед-

шими во время их рождения. Впоследствии, когда я прочел Тристрама Шенди, я еще более утвердился в сказанном положении и теорию Роберта Оуэна ставлю выше всех известных и не известных мне уголовных кодексов. Несчастное чтение записок г. фон Шнабелевопского и еще более Тристрама Шенди сделало меня в известном смысле фаталистом. Оно также развило во мне терпимость, вследствие которой я с одинаковым спокойствием наблюдаю деяния банкиров и хлопоты о введении между ангелами, населяющими землю, новых аграрных законов, отчего, впрочем, хлеб непременно вздорожает. Но это же чтение причинило мне очень много совершенно лишних забот. Когда я встречаюсь с новыми людьми, я впадаю в ужасное беспокойство, потому что меня сейчас же начинает мучить вопрос: что читали их матери в то время, когда были ими беременны? Разрешение этого вопроса в некоторых странах должно быть очень затруднительным, и я не знаю, что было бы со мною до сих пор, если бы я родился не в России. Россия мне необыкновенно мила тем, что в ней я могу гораздо легче определять, каких авторов читали матери моих земляков. У нас лица для этого необыкновенно удобны. Особенно утешает меня выразительность лиц московских и киевских. По рельефности этих выражений я давно решил, что матери современных москвичей во время беременности или ничем себя не беспокоили, или же всего внимательнее просматривали «Московские полицейские ведомости». Киевские же, наоборот, страдали

всегдашним беспокойством и проводили время за «Сандрильоною». Волынские матери читают календарь, издаваемый в Бердичеве отцами-кармелитами или бернардинами, орловские – «Евгения Онегина» и киевские святцы, а курские – киевские святцы и «Евгения Онегина». Камень преткновения для меня всегда находился в Петербурге. Очевидно, что матери наехавшего сюда населения что-то читали; но что такое они читали, нося залоги супружеской любви, я этого никогда отгадать, верно, не мог. То же самое могу сказать и об окрестностях нашей милой столицы. Всякая поездка из Петербурга меня мучит, и я успокаиваюсь только в Москве, когда понесет съестным. Вот, например, теперь, в купе, которого 1/8 часть я приобрел за 14 сребреников, от Петербурга до Вильна, есть одна барыня, сидящая со мною нос против носа; немец, сидящий рядом с барыней; священник, сидящий рядом со мною против немца, и четыре француза. Когда они взошли и уселись – я не заметил, потому что уселся раньше всех и тотчас, усевшись, впал в то моральное и физическое бездействие, которое, как известно, итальянцы называют *dolce far niente*.¹ Странность состава моей компании я заметил только тогда, когда вагон качнулся, и послышалось несколько прощальных возгласов: «*adieu*,² прощайте, *do zobaczenia!*»³ Немец ничего не кричал, и этой скромно-

¹ Сладостное безделье, ничем не заполненный досуг (*Итал.*)

² Прощайте (*Франц.*)

³ До свидания (*Польск.*)

стью заслужил некоторое мое внимание. Зато другие – Господи! что же это за варварство! Французы говорили все вместе и каким-то образом понимали друг друга, а дама, сидящая против моего носа, не медля ни единой минуты, обратилась к немцу с вопросом:

– Который теперь час?

Едва немец успел ответить, дама повернулась к священнику.

– Вы до Варшавы, батюшка?

– Нет-с, ближе.

– До Вильна? – пристаёт дама.

– Еще ближе-с, – отвечает, улыбаясь, священник.

– В Псков?

– Ближе-с, ближе, – говорит священник.

– В Гатчино?

– Дальше-с.

– Верно, на небо отправляется, – говорит дама по-французски и исключительно обращаясь ко мне. Плохо, подумал я, доходит и до меня очередь.

– А вы тоже ни близко, ни далеко?

Вопрос прямо идет к моей персоне, и на французском *диалекте*.

– Я еду дальше батюшки, – отвечал я моей соотечественнице по-русски.

– Они так могут подумать, что вы едете превыше небес, – подсказал священник спокойным и ровным голосом, но

немножко улыбаясь.

Дама не покраснела, а все-таки как-то смешалась.

– Вы, конечно, не сердитесь за шутку, – сказала она, обращаясь с французской фразой к священнику.

– Нет-с, за что же? Шутка никому не вредит, – отвечал священник на французско-латинском языке.

– Вы, верно, служите при каком-нибудь посольстве? – опять допрашивает дама.

– Нет-с, я служу при – ском институте.

– Ах! – ские институтки удивительно выдержаны. Просто прелесть, чудо, чудо, что такое.

Священник молчит.

– Вы, верно, не согласны со мною? – говорит барыня.

– Я ничего не сказал-с.

– Да промолчали.

– Да-с, промолчал.

– А молчание...

– Знак согласия, говорят, – подсказал священник.

– Хитрите, батюшка!

– Это как вам угодно.

– А, правда, что у нас женщины более образованы, чем мужчины?

– Как-с?

– Правда, что наши женщины образованы более чем мужчины? – повторила дама.

– Я об этом не думал как-то, – отвечал священник.

– А вы думали об этом или нет? Э!! да вы, кажется, спать хотите?

– Да, я хочу спать, – отвечал я довольно жалобным голосом.

– Нет-с, это невозможно!

– Как невозможно?

– А так! невозможно спать, сидя против женщины.

– Вы преподаете в институте? – обратилась затем дама к священнику.

– Да-с, закон Божий.

– Я очень уважаю религию, – отозвалась дама.

Священник сделал «мм» и ничего не сказал.

– То есть, понимаете, я не биготка, не фанатичка, я уважаю чистую религию и для того сына моего отдала в училище правоведения, чтобы был... ну, понимаете, не то, что из университетов выходят. Я даже отдала бы его в ваш институт, – прибавила дама, весело расхохотавшись, – да не примут.

– Да, в институт не примут, – сказал священник.

Я готов был думать, что родительница моей соседки, увлекалась сочинениями эпикурейцев.

Немец оскалил зубы и проговорил: «О, никак нельзя».

– А знаете, батюшка, – продолжала соседка, – я вам скажу; вот это может показаться странным, но все равно, я у вас исповедоваться не буду...

– Сударыня, здесь много людей, – заметил священник на

своем французско-латинском наречии.

Французы обернулись и порскнули сдержанным смехом: им, вероятно, показалось, что люди на сей раз Бог весть чему помешали. Священник покраснел и завернулся в воротник своей рясы.

– Что же люди? Я это могу сказать пред целым миром. Отчего такая несправедливость? Отчего мужчине позволено все... понимаете, все... а женщину клеймят за всякое увлечение? Нет, это гадко, это просто... подло.

Никто ничего не отвечал.

– А вы, кажется, опять спите? – обратилась ко мне дама.

– Нет-с, я слушаю, – отвечал я.

– Кого?

– Всех.

– И меня?

– Зачем же для вас исключения.

– Что же вы думаете?

– О чем, смею спросить? Говорено было много.

– Фу! да вы, кажется, бестолковы?

– На некоторые вещи бестолков.

– Ну, что вы думаете о правах женщины?

– То есть о ее правах увлекаться?

– Ну да.

– Что ж, пусть увлекается, если хочет.

– А вы будете бросать в нее камнями?

– Зачем же?

– Так уж заведено.

– Я говорю о себе, а не о заведении.

– А уж вас, батюшка, и не спрашиваю.

– За что я вам, сударыня, и сердечно благодарен.

– А можно ли, однако, по-вашему, прощать увлечения?

– Прощать *должно* все, – отвечал священник.

– Значит, вы извиняете женщину более, чем наши моралисты.

– Извините, я сказал о прощении, а не об извинении.

– Ах! я и не заметила этой тонкости.

– Женщина совсем не то, что мужчина, – проговорил немец.

– Юбку вместо панталонов носит и чинов не получает? – задорно спросила дама.

– Ну, не только это. Есть различные другие такие обстоятельства.

– Par exemple?⁴

– Ну, семейство.

– А! чужое дитя, как говорят, введет в семью!

Немец сконфузился.

– Это, что ли, вы хотели сказать?

– Я хотел... да, то есть, видите.

– Ну, да это самое?

– Да не это.

– А у вас не бывает детей, чужих для ваших жен?

⁴ Например? (Франц.)

Немец совсем загорелся.

– Говорят: первая любовь бывает самая сильная, – обратилась дама ко мне, оставив конфузливую немца.

– Говорят, – отвечал я.

– А вы как думаете?

– Да это как до человека.

– То есть для одного да, для другого нет?

– Да.

– Ну, а, по-вашему, как?

– По-моему, один раз полюбивши, пожалуй, и в другой полюбишь.

– Прекрасно! Ну, а разлюбить можно?

– Это опять как кому.

– А вам?

– Я, право, об этом не думал. – Эта дребедень, однако, становилась утомительной. На пятой станции я нашел место в соседнем купе и заснул сном невинного младенца, оставив батюшку и немца на жертву представительнице нашей гнилой эмансипации, но в пятом часу меня там зато нашла моя дама.

7-го сентября.

Не понимаю, чего жалуется на Главное общество? Вагоны прелестные, я спал мягко и растянувшись во весь свой рост. Буфеты опрятные, цены дешевле, чем на Московской дороге. За папиросу здесь берут две копейки, а там пять; за

бутылку пива двадцать копеек, а там даниельсоновское пиво продают по 30 коп. В Динабурге пиво особенно вкусное; я его рекомендовал генералу, который сидел около меня за столом, и тот остался отменно доволен «сим здоровым напитком», как называет пиво г. Крон.

– А как вы хорошо говорите по-русски! – заметил мне генерал после того, как я заявил свое удовольствие, что динабургское пиво нравится его превосходительству.

– Неудивительно, – отвечал я, – тридцать годочков живу на русской земле.

Генерал посмотрел на меня инспекторским взглядом и с видимым недоверием спросил: «Да вам всего-то сколько лет?»

– Да тридцать лет.

– Так вы в России родились?

– В – ской губернии.

– Да, но все-таки вы ведь француз?

– Происхожу от бедных, но честных родителей, вышедших из благословенной семьи православного духовенства.

Генерал хлебнул пива, затянулся папироскою и повернул голову в сторону.

– А ваше превосходительство, отчего думали, что я француз? – решил я побеспокоить генерала.

– Как-с? – спросил он меня, обратясь как бы с испугом.

Я повторил вопрос. Генерал потянул верхнюю губою, обтер ус и сказал: «Так, право, и сам не знаю, показалось что-

то».

Сколько уже раз я был оскорблен таким образом! Еще недавно один дворник в Петербурге три месяца уверял моего слугу, что я француз и с известной стороны субъект весьма подозрительный. В Орловской губернии, назад тому года три, бабы тоже заподозрили меня в иностранстве. Ехал я домой на почтовых, одевшись как следует, т. е. «по-немецки». Подошла большая гора, «дай, думаю, пройду под гору и взойду на гору». Схожу с горы, а под горой, около мостика, три бабы холсты колотят. Только что поравнялся с ними, гляжу, одна молоденькая бабочка и бежит, в одной руке валец, а другою паневу на бегу подтыкает.

– Ей ты! слышь, ей! постой-кась! Постой, мол, говорю, – кричит баба.

Смотрю – никого, кроме нас двоих, на мосту нет. «Какое, думаю, дело до меня бабе?» Остановился.

– Постой, мол, – кричит баба, совсем приближаясь ко мне.

– Ну, стою. Чего тебе?

– Ты чего покупаешь?

– Я-то?

– Да чего покупаешь: не пиявок часом?

– Каких пиявок?

– Известно каких: хорошие есть пиявки.

– Да на что мне твои пиявки?

– Аль ты не жид? – спрашивает меня баба, глядя подозрительно.

– Какой жид? с чего ты вздумала?

– Ой!

– Какой жид? Бог с тобой.

– И пьявок тебе не требуется?

– На что мне твои пьявки?

– Поди ж ты! – Баба огорчилась, бросила валеk на мост и, шмыгнув рукою под носом, сказала с сожалением: «А тетка Наташка баит, беги, баит, Лушка швыдче, вот тот жид идет, што пьявок покупает. Экое горе!» – добавила баба с горьким соболезнованием, что я не жид и не покупаю пьявок.

Между пассажирками с разных станций, начиная от Динабурга, беспрестанно появляются дамы в траурных платьях. Прислуга на станциях уже говорит по-польски.

8-го сентября. Вильно.

Вчера вечером, опоздав полчаса, поезд наш явился в Вильно. Амбаркадер железной дороги здесь еще окончательно не отделан, холодно, везде ходит ветер, прислуга суетится, и порядка ни в чем нет. Меня на станции встретил мой добрый знакомый, и я уехал к нему, потеряв всякую надежду добраться до своего багажа; но зато не лишаясь надежды, что мои вещи провезут до Ландварова. Это здесь, говорят, бывает.

8-го сентября, вечером.

Я немного не застал похорон Сырокомли, любимого из

современных польских поэтов. Его схоронили три дня тому назад. На погребении его было почти все Вильно. Из речей, сказанных над гробом покойного, замечательнее прочих речь литератора Вицентия Коротынского, бывшего искренним приятелем Сырокомли и теперь занятого составлением его биографии. Бедная семья Сырокомли имеет несомненных друзей в Тышкевиче, Кирнере, Круповиче, Бондцкевиче и Коротынском. Они намерены содействовать вдове поэта к изданию его сочинений, и редакция «Kurjera Wileńskiego», вероятно, найдет средства как-нибудь устроить сирот талантливейшего из своих сотрудников, пока литовское общество поймет свою обязанность не останавливаться на одних сетованиях об утрате своего поэта и не почитит своим вниманием сирот певца скорби и любви, нуждающихся в воспитании, на которое нет средств у их матери. Сырокомлю знают не только в Литве и Польше, но и вообще во всех славянских землях, и где его знали, там его любили за его симпатический талант и неуклонно честное направление. Он никогда не искал ничьих милостей и очень мало заботился или, лучше сказать, совсем не заботился о своей репутации. Он не обладал искусством маскироваться и не умел скрывать своих слабостей, которые, впрочем, не приносили никакого вреда никому, кроме самого покойного, много и много пострадавшего в своей жизни. Сколько я могу судить по слышимым теперь рассказам о Сырокомле, у него было очень много общего в характере и нраве с покойным Тарасом Григорьевичем.

чем Шевченком, но положение его в Вильне было гораздо тяжелее положения Шевченки в Петербурге. Здесь, как вообще в небольших городах, люди необыкновенно строги к другим, и их благонамеренные рты хуже гильотины для всякого доброго имени. Сырокомля же, как я сказал, не был ни дипломатом, ни человеком светским, его дошибало горе, и он коротал его, как умел и как мог. Этому ему не прощали и теперь еще не прощают местные прюдеристы. Не очами виленских денди он смотрел на свое святое призвание. Страдая от нужды и горя, страдая от своих слабостей и от слабостей других, он постоянно верил, что

Nie poeta, kto śpiewa i patrzy
Czy słuchają, czy patrzą słuchacze;
Lecz kto pierśmi do ziemi przypadłszy
Sam dla siebie śmieje się i płacze.
Nie poeta, cîstojąc na górze
Z pycha stroi pieśniarskie narzędzie,
Struny porwą, rozszarpią mu burze
I nic z piésni sławionej nie będzie.
Lecz poeta, cîkląkł po cichutku
Jak pokutnik światowy i boży,
Co łze swojej radości i smutku
Na wilgotnej swój ziemi położy.
Bo z lez gorzkich wyrośnie, wykwitnie
Piolun gorzki, cîsłuży na zdrowie;
Uśmiech w klosy przemieni się żytnie,
Z których chléb swój wypieką wnukowie.

Szczatki ojców, cîmieści ta gleba,
On westchnieniem wywoła, wyświeci,
Aby oprócz powszednich brył chleba
Chléb duchowy szedł z ojców na dzieci.

Граф Тышкевич пригласил меня завтра в двенадцать часов посмотреть музей, устроенный в Вильне его стараниями. Вечером я ездил с моим родственником по городу. Вильно мне очень нравится. Ходил на Крестовую гору и на остатки башни разрушившегося замка. На этой башне теперь надстроена деревянная будка, а на будке крепостной флаг. То, что называется в Вильне крепостью, едва ли в самом деле имеет какое-нибудь право на это название; но в настоящее время она, действительно, недоступна. Не без труда мы нашли возможность взойти на Замковую гору, с которой открывается великолепный вид на весь город и его окрестности. Провожавший нас солдат говорил о каком-то необыкновенно интересном формуляре «крепости, который офицеры как приедут, все читают». Там, он говорит, есть что-то такое, чего нигде не описано, и о розах, которые цвели в день Рождества Христова, и о других интересных вещах; но из рассказа гарнизонного чичероне мы ничего путем не поняли, а документа, который все «офицеры как приедут, так и читают», мне прочесть не удалось. Из отдельных частей укрепления наибольшим вниманием пользуется, кажется, 14-й номер да ботанический сад, который находится в крепости и в который никому, кроме начальства, ходить не дозволяется.

Обоих этих интересных мест я и не видел.

Вечером поехали втроем на фольварок Бурбишки, к редактору «Kurjera Wileńskiego». Там были главные сотрудники газеты. Толковали о положении издателей, о литературном труде, кое-что прочли, кое-что вспомнили, кое о чем пожалели. За ужином выпили тост за процветание русской литературы и за здоровье русских литераторов. Ночь прошла незаметно. Завтра уговорились сойтись вечерком у моего гостеприимного хозяина, чтобы вместе дожждаться петербургского поезда, который придет в два часа ночи. Радужный прием, который я встретил у виленских литераторов, обязывает меня искреннею благодарностью им.

Погода сильно испортилась. Дождь льет как из ведра, и дует холодный петербургский ветер.

9-го сентября.

Сделал визиты моим новым знакомым; потом ездил с моим хозяином в Верки, село, лежащее в семи верстах от Вильна и принадлежащее гр. Витгенштейну. Дорога в Верки лежит по лесу, в котором очень много каменных часовен с весьма плохими картинами и надписями из Евангелия на польском языке. Таких часовен здесь, говорят, 80; но я видел только 5 или 6. На пятой, кажется, версте дача митрополита виленского, и здесь кончается шоссе. Далее идет грунтовая дорога до самых Верок. Въезд к Веркам снова шоссирован. Вид из сада на луговую сторону реки прекрасный, но неболь-

шой. В доме Витгенштейна замечательного видел только мастерски написанный семейный портрет, одну картину работы Айвазовского, две фигурки из глины да невероятной величины латы одного из Радзивиллов, с которым теперешний владетель состоит в родстве. Потом ездил смотреть тоннель, построенный генералом Лундом, а потом обедал в польском трактире; обед дали возмутительно гадкий.

Забыл сказать о виленском музее. Он очень невелик. Два зала, в которых собраны и антики, и несколько зоологических экземпляров, и исторических памятников монет. Замечательнее всего портреты, которых здесь немало. Между ними есть портрет Мицкевича в молодых его летах, Марины Мнишек, Стефана Батория и многих других известных в истории Польши лиц.

Очень жаль, что ни граф Тышкевич, ни г. Крупович не позаботятся сделать с этих портретов фотографических копий, которые можно было бы продавать в пользу музея, очень нуждающемуся в средствах. Музей этот своим существованием обязан графу Тышкевичу и только в недавнее время пользуется некоторою поддержкою со стороны нашего правительства. В тот день, когда я был в музее, он был полон народом. Особенно много было дам и детей. До сих пор я еще не видал ни разу такого огромного собрания женщин в сплошном трауре. Кроме черного пудесуа и черного ситца с белыми цветочками не видно ничего. В пяти или шести местах видел казаков квартирующего в Вильне полка. Трое из

них в верхней зале стояли у большого зубра. Чучело очень хорошо сделано, но, до перенесения его сюда, оно стояло в губернаторском саду, и там в нем от сырости завелась моль, которой теперь никак не изведут. Чучело это нужно считать совершенно погибшим и вредным для музея, потому что от него может расплодиться моль и попортить другие чучела, стоящие в том же зале.

– Ха, ха, ха, – разделся сзади нас громкий хохот.

Я оглянулся. Молодой казак покатывался со смеха.

– Т-с, ты, пострел! – удерживал его другой, дергая за рукав шинели и в то же время сам едва удерживаясь от смеха.

– Гляди! гляди, – опять вполголоса сказал молодой казак и опять порскнул в рукав.

Я снова оглянулся, и вижу, что во рту у зубра торчит коротенькая солдатская трубочка. Казаки сначала как бы сконфузились, но потом, видя мое смирение, тотчас же оправились.

– Курит, – сказал, смотря мне в глаза, толстый белобрысый казак с клиноватую бородою.

– Да он курит, а тебя за это выведут вон, – отвечал я покойно.

Казак сделал недовольную мину.

– Небось не выведут, – сказал он, вынул из рта у зубра трубку и пошел прочь, а за ним пошли и другие.

В Вильне очень замечательна одна колокольня, построенная, так же как и крепостной флагшток, на остатках древ-

ней башни. Остатки эти, служащие основанием колокольни, очень крепки и характеристичны, но кому-то пришла несчастная мысль их заштукатурить, не обравняв стен, и вышло Бог знает что за уродливая штука! Интересно было бы знать, в каких видах эта штукатурка признавалась полезною или нужною, и когда придет мысль снять ее, как снята побелка киевского Софийского собора?

10-го сентября. Гродно.

Ночь опять просидели очень приятно. Говорили о литературных направлениях вообще и о их значении в данные моменты. Не в укор будь сказано полякам, знакомство их с русскою литературою очень невелико; о направлениях же современной периодической литературы существуют самые неосновательные понятия. Разумеется, я сужу по тому, что я слышал, и не могу говорить ничего безотносительно. Из уст здешних литераторов я слышал имена Пушкина, Лермонтова, Кольцова (!), Гоголя, Шевченки, Герцена, Кохановской и Чернышевского. О других ни слова: ни Тургенева, ни Белинского, ни Некрасова, ни Островского, ни Марка Вовчка здесь не вспоминают, а о людях, занимающих второстепенные и третьестепенные амплуа в нашей литературе, – и говорить нечего. Впрочем, поляков упрекать тут не в чем. Если взять в расчет знакомство русских с польскою литературою, то верх все-таки останется за поляками. У них каждый что-нибудь да знает о русской литературе, а у нас едва десятый знает два

стиха из Мицкевича да слышал о существовании Корженевского, Крашевского, Одынца или Сырокомли. Одно, что мы верно понимаем, это направление польской периодической литературы. Поляки никак не разрешат себе, что хотят наши «*нетерпеливцы*» и на что надеются «*постепеновцы*». Этими двумя словами весьма метко и остроумно охарактеризовались две главные литературные партии в России: эти названия гораздо определеннее, чем слова «прогрессисты», «умеренные», «крайние», «ретрограды», «консерваторы» и т. п. За исключением некоторых изданий, цену и значение которых все понимают, у нас именно есть две партии, и эти две партии суть *постепеновцы* и *нетерпеливцы*. Кличка дана совершенно по шерсти, и я решаюсь предрекать ей некоторую долговечность. В польской периодической литературе совсем другое дело. Не говоря о «*Dzienniku Powszechnem*», который равняется издаваемой в С.-Петербурге «Северной почте», все польские периодические издания стремятся к одной цели и держатся одного направления. Даже краковский «*Czas*» и другие бесцензурные издания во многом совершенно согласны с газетами цензурными. Это, конечно, должно рассматриваться не безотносительно, а в связи с известными обстоятельствами, сосредоточивающими все помыслы страны на немногих, точно определенных вопросах. Изменение обстоятельств, вероятно, и в польской литературе поселит своего рода раскол, какой водворился в литературе *постепеновцев* и *нетерпеливцев*. Это совершенно в порядке вещей.

Но вот что странно: во всей польской цензурной, бесцензурной и подпольной литературе не было и нет социалистических стремлений. Бесцензурная и подпольная (секретная варшавская пресса) высказывает стремления красные, демократические, нетерпимые, но социалистических никогда. Замечательно, отчего у поляков социализм считается утопией и сумасбродством, а в некоторых кружках нашего просвещенного отечества в нем видят наивысшую и конечную форму человеческой цивилизации! В либерализме, в понятиях политических польские издания могут быть солидарны с нашими изданиями, известными своим либерализмом, но в своих экономических стремлениях они более солидарны с *постепеновцами*. Из русских периодических изданий наибольшим почетом здесь пользуется «Современник». Это я могу сказать утвердительно, потому что сочувствие к приостановленному журналу слышал от людей самых различных общественных положений. Здесь любят этот журнал так же, как любят его помещики Орловской, Курской, Пензенской, Саратовской и мн<огих> др<угих> губерний, а там его любят ужасно. Афанасий Васильевич, обыватель одной из этих губерний, ханжа, ревнивец и крепостничок, получив известие о приостановлении «Современника» по распоряжению правительства, целый месяц сидел, списывал в особую тетрадь некоторые статьи из вышедших книжек «Современника».

– А знаете вы, за что приостановлен «Современник»? –

спрашивает он встречного и поперечного.

– Нет-с, не знаю, – скажите Бога ради, – говорит встречный и поперечный.

Афанасий Васильевич нагибается к уху и каждому по секрету шепчет с расстановкою: «З-а с-т-а-т-ь-ю о б-ю-д-ж-е-т-е!» Затем быстро откидывается назад и, пристально глядя в глаза изумленного встречного, говорит: «Поняли вы?»

– Тсссс, – говорит встречный, мотая головой.

– Поняли? – спрашивает опять Афанасий Васильевич, поднимая вверх указательный палец с кольцом от мощей Тихона Задонского.

– Понял-с, понял. Как не понять.

– Нет, вы прочтите.

– А у вас есть?

– Еще бы!

– Дайте, пожалуйста.

Афанасий Васильевич запускает руку в боковой карман и достает мелко переписанную женской рукою статью о государственных расходах.

– Вот-с, она, сама Ноточка писала. У меня, батюшка, все, и сам, и дети, и жену посадил, все переписывали, пока книжку держали из библиотеки.

– А можно переписать? – спрашивает встречный.

– Отчего же, можно, только мою-то не замажьте; это ведь Ноточка писала.

– Нет-с, как можно!.. А ничего это, Афанасий Василье-

вич?

– В каком отношении?

Встречный озирается и двумя нотами ниже говорит:

– Так, знаете, чтобы чего-нибудь...

– Э! полноте; ведь это с печатанного, да и вы можете сказать, что это я вам дал.

– Да-с, могу... покорно благодарю, покорно благодарю, – лепечет встречный, упрятывая в карман своих шаровар статью, переписанную душистой ручкой Ноточки.

– Эй вы! Петр Егорович! а Петр Егорович! – кричит Афанасий Васильевич, отпустив от себя соседа шагов на пятнадцать. Сосед оборачивается.

– Поскорее, – кричит Афанасий Васильевич.

– Чего-с? – кричит сосед, делая из горсти павильон над своим ухом.

– Поскорее, говорю.

– Что? – Сосед решается приблизиться к Афанасию Васильевичу и опять повторяет: «Что скорее?»

– Переписывайте-то скорее, – говорит Афанасий Васильевич, интересничая и понижая голос.

– А! Я скоро, скоро. А вы разве здесь не надолго?

– Да вот только людишек обещали поунять; завтра, думаю, все будет готово.

– Бунтуют? – с участием спрашивает встречный сосед.

– Да так, дворов сносить от усадьбы по положению не хотят.

– А все смирно?

– Да как вам сказать... Так вы поскорее, пожалуйста.

– Извольте, извольте-с. – Соседи расходятся.

– А позвольте узнать, Афанасий Васильевич, – говорю я после этой сцены, – отчего вы уверены, что «Современник» приостановлен вследствие статьи о бюджете?

– А то вследствие чего же-с? – задорно спрашивает меня Афанасий Васильевич.

– Да я этого не знаю.

– А! то-то и есть. А я знаю, что за эту статью.

– Не верится.

– Отчего же это вам не верится?

– Да оттого, что я статью эту знаю, и ничего в ней нет такого, что могло бы навести на ваши заключения.

– Нет-с, уж вы этого, пожалуйста, не говорите! Пожалуйста, не говорите этого! Я уж наверно знаю, н-а-в-е-р-н-о-е-с з-н-а-ю!

– А скажите, правда ли, что «Современник» запрещен за статью о студентах? – спрашивает меня офицер квартирующего в – ской губернии полка. Я ему говорю, что не знаю.

– Нет, это наверно, – говорит офицер, – у нас и статья эта списана.

– Ах, а прогос!⁵ «Современник» за что запрещен? – говорит золотушная дочка – ского губернатора.

– Не знаю, за что именно.

⁵ Кстати (Франц.)

– Vraiment?⁶

– Право, не знаю.

– За статью Филиппова о русских законах?

– Не знаю.

– Да это наверно. Мне из Петербурга писали.

И все знают *наверно*... Ну, что с ними станешь делать.

Пусть учатся переписывать: им это полезно, и «Современнику» тоже.

Поезд из Вильна в Гродно отходит в 3-м часу ночи, но билеты пассажирам в Вильно дают только до первой станции, до Ландварова, и багаж тоже берут только до этой станции. Вот уж порядок! Ночью извольте на промежуточной станции толкаться за билетом, отыскивая свой багаж, снова его взвешивать и сдавать.

В вагонах нет места. В 1-м классе меня пхнули в купе к даме, обложенной тремя спящими детьми, которые, по ее показанию, нездоровы. Уселся кое-как в уголке. Дама совсем в особенном роде: зевает, как сытый волк, и ничего не говорит, кроме показания о болезни своих детей, сделанного в момент моего вступления в купе.

Наконец Ландварово. Господи! отпусти французское жестокосердие, *устроившее* эту станцию. Ни угла теплого, ни мебели, ни места присесть, словом, ничего. Двери с разбитыми стеклами или вовсе еще без стекол; пронзительный холодный ветер свищет по зале, мужчины кричат, женщины

⁶ В самом деле? (Франц.)

суетятся, ищут оттертых толпою детей, дети плачут, не находя матерей. Все недовольно, все торопятся, боясь опоздать, и никто не находит удовлетворения ни одному из самых умеренных и самых справедливых требований пассажира. Я теперь понимаю озлобление русской публики против администрации *обворожительных* сотрудников рыцаря Бларамберга; искренно желаю ему получить насморк и усаживаюсь на моем саквояже на платформе, потому что в залу нельзя пролезть.

На ландваровской платформе мне приходит на память один недавно скончавшийся даровитый русский публицист, либерал и радикал. Он, говоря притчами, сказал раз, что неблагоразумно, едучи из Москвы в Петербург, брать билет до промежуточных станций. *Нетерпеливцам* это очень понравилось, и они не раз замечали *постепеновцам*, что они портят дело, предъявляя требования на билеты до промежуточных станций. Французский рыцарь г. Бларамберг дает возможность отвечать на вопрос покойного радикала. Не возьмете у него билета из Вильна до Ландварова, не попасть нам и в Варшаву, стоящую в конце пути. Вот зачем люди сообразительные и берут билеты до промежуточной станции, когда нельзя получить их на целый путь, и упрекать их, кажется, не в чем.

Дойдя до такого заключения, я чихнул. Это с одной стороны значит, что мои заключения справедливы, а с другой, что я получил насморк, который по всей справедливости должен

был бы идти г. Бларамбергу с товарищи.

Забыл сказать, что в виленском амбаркадере я видел несколько экземпляров бларамберговской креатуры в самом печальном настроении. Бедняжки жалуются на сокращение штатов и на покушение удалить тех из них, которые не понимают ни по-русски, ни по-польски. Какая несправедливость! И эти русские и литвины не позаботятся изучить французский язык, чтобы спасти остатки полчищ, приведенных в Россию рыцарем Бларамбергом! Истинное варварство!.. А пора попустить этих господ с рук, и очень пора: скверно распорядиться мы и сами умеем, и берем за это гораздо дешевле.

После суеты и торопливых хлопот о билетах и багаже нас усадили в вагоны и объяснили, что поезд пойдет еще через час. Ну, вот и прекрасно. В купе, занятом мною и двумя моими спутниками, садится некая персона, состоящая на службе по железной дороге, и гвардейский офицер, следующий с командою в Варшаву. По поводу шляхты мы с К—м заговорили о взглядах Рия на умственный пролетариат. Разговор идет по-польски. Офицер, услышав несколько раз упомянутое имя Рия, спрашивает меня по-русски: «А что, его родные были тогда в Варшаве?»

– Чьи родные? – говорю я, совершенно не поняв вопроса.

– Рия!

– Рия?

– Да, Рыля!

– Не знаю, право, но зачем же им быть в Варшаве?

– Разве он не варшавский?

– Рыль-то?

– Да, он ведь варшавский?

Я наконец догадался: «Вы о каком Риле говорите?» – спросил я офицера.

– О том, которого повесили в Варшаве.

– А мы о том, который писал об умственном пролетариате.

– А так это не тот самый.

– Нет, не тот.

– Где же это напечатано об умственном пролетариате?

– В «Русском вестнике».

– Ну, уж, батюшка, «Русский вестник»...

– Что?

– Черт знает что.

– Журнал хороший, – говорит К—ч.

– Подите вы!

И я, и К—ч смотрим на фамильярного офицера, завораживаемся в углы и засыпаем.

За две станции до Гродны поднимается шум, все бегут пить чай, но до чая дотолпиться нельзя, и половина пассажиров, несолоно хлебавши, возвращается в свои вагоны.

Наш офицер показывает персоне, служащей по железной дороге, серебряные часы, подаренные кому-то из его солдат за меткую стрельбу, и спрашивает об удовольствиях варшавской жизни. На одно свободное место в нашем купе кон-

дуктор сажает даму в черном платье, с маленькой девочкой тоже в черном.

– Przepraszam!⁷ – говорит дама, проходя мимо наших ног. Мы поднялись и дали место. Уселись, поезд тронулся.

– Вы, верно, не издалека? – спрашивает офицер новую со-
путницу.

– Со?⁸

– Вы не дальние? здешние?

– Со? – опять повторяет дама, надвинув брови и поправ-
ля галстучек на ребенке.

Офицер повторил свой вопрос в третий раз.

– Ja nic nie rozumiem,⁹ – ответила дама тоном, не допуска-
ющим дальнейшего разговора, и, посадив ребенка к себе на
колени, обернулась к окну.

По потолку вагонов задвигалась сигнальная веревка, пас-
сажиры высунулись в окна, раздалось: «пожар, вагон горит».

– Позвольте, позвольте, – говорит офицер, поспешно дви-
гаясь к двери, «пшипрашу»,¹⁰ говорит он, проходя мимо да-
мы, и выскакивает из вагона. Мы тоже вышли. Второй вагон
от локомотива горит с передней стороны; говорят, в него по-
пала искра из трубы и внедрилась в свежую масляную крас-
ку. Воды нет. Солдаты берут горстями песок с дороги и за-

⁷ Извините! (Польск.)

⁸ Что? (Польск.)

⁹ Я ничего не понимаю (Польск.)

¹⁰ Извините (Польск., искаж.)

брасывают горящую стенку платформы.

– Вещи, вещи свои беречь! – кричит офицер солдатам.

– Слушаем, аше бродие! – отвечают солдатики.

– Что твой палец? – спрашивает офицер солдатика с рукой, обвязанной какою-то онучею.

– Ничего, аше бродие!

– Болит?

– Болит, аше бродие!

– А легче теперь?

– Таперича легче, аше бродие!

– Что у тебя такое? – спросил я солдатика, когда офицер отправился командовать гасильщиками.

– Дверью в агоне прищемил.

– И крепко прищемил?

– Совсем увесь коготок так и отворотил.

– Что ж ты сделал?

– Табаком присыпал, да вот тряпицей обмотал. Кровь только все так и валит, – добавил он, показывая мне на тряпку, смоченную кровью.

– Купец! послушайте, купец! – обратился ко мне больной. – Не обидетесь, что я вас попрошу?

– Не обижусь, мой друг, не обижусь.

– Одолжите сигарочку, – и солдатик сделал мягкую улыбку. Я дал ему две сигары.

– Вот благодарение вам. – Солдатик взял левою рукою сигары и запахнул их за обшлаг рукава больной руки.

– Садись, – скомандовал офицер. Солдатики начали прыгать в «агон», и через десять минут мы пристали к гродненскому вокзалу, *устроенному* еще хуже ландваровского.

11-го сентября. Гродно.

Вчера целый день протаскался по Гродно. Гадкий городишко, хуже Чернигова, кажется. Еврей, поймавший меня за саквояж при выходе из вагона, уложил его в свою «бричку» и таким образом обязал меня влезть туда же.

– Куда ехать? – спросил он, проехав шагов тридцать.

– К Эстерке. – Я еще на дороге условился с моими знакомыми остановиться вместе, а они почему-то предпочитают «заязд Эстерки».

«Заязд Эстерки», как все еврейские заязды, грязный, холодный, с дурно прилаженными окнами и хлопающими дверьми. Двери между номерами ничем не заклеены, и под каждую дверь большое пустое пространство. В номере слышно все, что говорят в соседних номерах, справа и слева. Один из моих товарищей К—ч отправился к своему отцу, для свидания с которым он приехал из Вильна, а другой занял номер рядом со мною, в номере с другой стороны слышны молодые женские голоса и треск от раздираемой материи: там что-то кроют.

Извозчик еврей, похитивший меня со станции железной дороги, взыскал с меня полтинник за доставку к Эстерке. Абрам, метрдотель Эстерки, стоявший при моем расче-

те, свидетельствовал, что это «стоит полтинника»; ну, стоит и стоит, делать нечего. Приезжает мой товарищ, обыватель литовского края и знаток здешних людей и здешних нравов. Извозчик в два приема сносит за ним кучу вещей, которых со мной не было, и получает за это 40 грошей, т. е. 20 коп. сер<ебром>.

– Замало, пане, – говорит извозчик, – нужно бы 50 грошей.

– Иди вон!

– Дайте десять грошей.

– Абрам!

– Только пять грошей прошу.

– Абрам! Абрам!

Входит Абрам.

– Что ему следует от железной дороги?

– А чи я знаю? – говорит Абрам.

– Врешь, говори!

– Ну, вы же рядились с ним.

– Нет, не рядился.

– Ну, так дайте ему золотого (15 копеек).

Извозчик забормотал по-еврейски, тыкая под нос Абраму золот и десятигрошовый билон.

– Пошли оба вон.

Евреи продолжают кричать.

– Пошли вон, говорю вам, пошли!

Извозчик выскакивает за дверь, а Абрам за ним. «Поде-

рутся», – думаю себе и выхожу на галерею, устроенную вдоль номеров, а Абрам стоит с извозчиком и беседуют самым любезным образом на своем жаргоне. Все-таки мне неприятно, что мой сопутник, добрый и мягкосердечный человек, так круто обращается с евреями.

– Пане!

Оборачиваюсь: за мной стоит хромой еврейчик.

– Я помощник Абрамки.

– Что ж тебе нужно?

– Постель пану нужна?

– Нужна, только чистая.

– О! что уж чистая, то будет чистая.

Еврейчик скрывается и через полчаса вносит две простыни и две подушки.

– Разве это чистая постель? – говорю я, указывая на подушки и простыни.

– Ну, что это, это пустяки, так какое-то пятнышко.

– Пусть и так, а ты мне дай другую постель.

– Ой, нету, далибуг же нету, пане!

– Так за что же вы деньги берете?

– Як за что? За постель.

– За грязную?

– Ай, ай, ай, як пану не стыдно такое говорить, – говорит еврей укорительным тоном, – чи ж это грязная постель?

– А пятна?

– Ну, что за пятна, пустые пятна.

Мне надоел этот торг, и я позволил себя уверить, что принесенная мне постель действительно чистая.

Только что исчез хромой еврейчик, является Абрам и осматривает мой номер.

– Умыться надо? – спрашивает он.

– Надо.

– Самовар надо?

– Надо.

Абрам заворачивается, но, взявшись за дверную ручку, опять останавливается и с скоромною миною вполголоса спрашивает: «Може еще что надо?»

– Иди, иди, – говорю я, – давай самовар.

– Зараз, зараз, – и Абрам исчезает.

Мой товарищ отправился по делам, а я достал из чемодана книжку и уселся за самовар.

– Булки надо? – спрашивает Абрам.

– Дай.

– Ой, когда б пан знал, сколько я имею хлопот, – сказал Абрам, кладя булку на грязную тарелку.

– А еще сам себе сочиняет лишние хлопоты.

– Как лишние хлопоты?

– Да редкости там какие-то откапываешь.

– О! я рад служить добрым панам, когда видите, – произнес он, понижая голос, – был у нас театр. В теперешних часах, на том театре никого не осталось, только одна актерка заболела в те поры и не выехала. Ай, что то за пекность! Что

то за милютка!

Абрам делал такие рожи, что я невольно расхохотался.

– Ой, пан, смеешься, а як бы увидел, то... – Абрам поцеловал кончики своих замазанных пальцев, защурил глаза и поднял кверху всю свою рожицу.

– То нужда, нужда ее теперь до того допроводила, а прежде она ай, ай, ай, какая была пани; але нехай и теперь пан посмотрит.

– Ну, ладно, ладно, иди себе с Богом.

– Я пану расскажу, – снова начал Абрам, – она замужня.

– Да что мне до нее?

– Ну! я только так говорю, замужня, а не какая-нибудь.

Только не хочет жить с мужем.

– А удалилась под твою протекцию.

– Хм! – Абрам засмеялся. – Пан жартуешь с моей протекции, а Абрамку по цалым свете знают.

– Полно врать.

– Далибуг, что знают. От нехай же ну пан спытает об Абрамке в Варшаве, чи в Кракове, – везде знают.

– Уйди, пожалуйста, Абрам!

– Пан мне не верит.

– Уйди, Абрам!

– Абрамка! Абрамка! – кричит кто-то с галереи.

– О! сколько я маю клопот, – сказал Абрам и потел за дверь.

Что это за люди, эти еврейские факторы и слуги в заездах?

Объездил весь город. Спускался к Неману под мост железной дороги. Мост очень красив, но ужасно высок, и выгрузка товаров, передаваемых с судов на железную дорогу, очень неудобна. Здешние суда «вицины» очень длинные и едва ли удобны для плавания по такой реке, как Неман. Вся поездка по целому Гродну стоила мне в 60 копеек. Гостиниц здесь видел только две: «Hotel Warszawsky» и «Hotel Krakowsky»; зашел в один – очень уж грязно, пошел в другой – еще грязнее. За столом застал до 40 человек в чемарках, казакиных с усами, с бородами и без усов и без бород. Разговор беспрестанно пересыпается именами Андрея ЗамоЙского и маркиза Виелопольского.

В половине обеда вошли два армейские офицера: один высокий угреватый блондин, другой черненький с кошачьей физиономией.

– Ей ты, пан! Давай обедать! – крикнул угреватый лакею в засаленной чемарке.

– *Zaraz, pane!*¹¹

– Я знаю твой *зараз*, а ты давай *сейчас!*

– Сичас, сичас, – заговорил лакей, метнувшись к буфету.

– Ей ты, пан! если ты пан, так давай есть, – закричал черномазый офицер пробежавшему с тарелками лакею.

– *Zaraz, zaraz, daisz.*¹²

– Пан! Тоже откликается, – заметил угреватый.

¹¹ Сейчас, господин! (*Польск.*)

¹² Сейчас, сейчас, дам (*Польск.*)

– У них всякий черт пан, – заметил черномазый.

Несколько человек переглянулись и опять утупились в свои тарелки.

Я окончил свой обед и отправился спать в отель «Эстерки». В номере у меня холод ужасный, и полученный в Ландварове насморк ожесточается.

В ожидании К—ча, который хотел прийти в 5 часов, чтобы показать мне исторические памятники Гродна, я завернулся в шинель и лег в постель. По мере того как я согревался, меня стал одолевать сон, и я проснулся, когда было уже темно. В соседнем номере налево горели свечи, и свет сквозь дверные щели падал двумя яркими полосками на пол моей комнаты. Я очень люблю сумерки, когда остатки дневного света еще борются с ночною тьмою; спешить же было некуда, и потому я не встал с своей согревшейся постели. Szara godzina, серый час, как называют поляки сумеречный час, необыкновенно располагает к мечтам и воспоминаниям. У меня немного воспоминаний, но, тем не менее, они мне приятны. Под звуки свежих женских голосов моих соседей я вспомнил другой полупольский город, стоящий не в холодной Литве, а в роскошной Украине; вспомнил маскарады, желтый дом, комнатку над брамой (воротами), белокурые локоны на миловидном личике и коричневое платье на стройном стане. Потом пошли другие воспоминания, розы смешались с шипами; потом розы совсем куда-то запропастились и остались одни иглы, все иглы, иглы, и вот

я одинокий и разбитый лежу в холодной комнате литовского заязда и волей-неволей слушаю разговор двух польских помещиц, рассуждающих о приданом. *Приданое!* Какое это странное слово, думаю я, и снова чувствую, что меня одолевает дремота.

– Зося (Соня)! сердце мое! ты ли это? – весело вскрикнули обе мои соседки, и я опять возвратился к бдению.

– Вот же видите, что я, – немного разбитым, но симпатичным голосом отвечала гостья. – Здравствуйте, тетя, здравствуй, Ксаверна! Поздравляю тебя с женихом; дай Бог тебе много, много счастья!

Послышались частые и долгие поцелуи.

– Зачем? зачем? – говорила гостья.

– Ну, позволь, Зося. Ты ее старше, она любит и уважает тебя; отчего же ей не поцеловать твою руку?

Опять послышался поцелуй, другой, третий, вздох, опять поцелуй и опять вздох.

– А ведь я прямо к вам, тетя! – заговорила снова гостья.

– И прекрасно, и прекрасно; поговорим, поболтаем, посмеемся, поплачем, – так, что ли? Поплакать ведь есть о чем, а?

– Нет, тетя, все слава Богу.

– У тебя всегда слава Богу. Ксаверна, скажи, ну, сердце мое, чтобы Зосе дали чаю. Я думаю, девочку-то ты зазнобила?

– Где ж там зазнобила! Две мили разве далеко? Она, моя

малюська, прижалась и вот до сих пор спит.

– Дай же, я составлю ей креселки да положу подушек.

Послышалось движение кресел к самым моим дверям, потом перебили подушки, и молодая женщина уложила на них спящего ребенка.

– Ну, что же, Ксаверна, счастлива ты, мой ангел?

– Счастлива, очень счастлива, Зося, – отвечает младшая из моих соседок молодым, почти детским голосом.

– Любите друг друга?

– О уж, что любят, то и говорить нечего, – отвечает старшая.

– Дай же, Боже, чтобы этой любви вам стало навеки.

– Добрая ты, Зося, – отвечает опять молодой голосок, и раздаётся звучный, искренний поцелуй.

– Скажи же ты нам, как ты узнала, что мы здесь? – спросила старшая соседка гостью.

– Я вчера послала Яна (Ивана) в город, и он вас встретил и сказал мне.

– Зачем же он не зашел ко мне?

– Я его наскоро послала, тетя; он спешил.

– Иезус, Мария, так уж спешил, что и слова не мог выговорить! Что это за спех такой?

– Я его в аптеку послала.

– Разве кто болен был? Муж, что ли, у тебя болен?

– Н-нет, он здоров; я для Мальвинцы брала лекарство.

– Чем же она больна?

– Теперь, кажется, ничего, видите, тетя, как спит, а вчера она что-то нехороша была.

– Что вы на меня так смотрите? – спросила гостья после непродолжительного молчания.

Старшая соседка вздохнула и сказала: «Ничего; так смотрю. Пей чай, Зося».

– Благодарю, тетя, уж не хочется.

– Пей, согреешься.

– Я не озябла.

– Ты в чем приехала-то?

– Я на одной лошадке.

– Как на одной лошадке?

– Так, тетя, ездила в воскресенье в костел да нетычанку сломала; посылать за ней пройдет много времени, а я боялась, что вас не застану, и поехала.

– На возу?¹³

– Ну, да.

– Что же это ты, с ума сошла, что ли?

– Да что ж такое, тетя? Две мили, Боже мой, ведь это прогулка.

– Для женщины слабой, которая сама кормит?

– Эх, полноте, тетя! Давайте лучше говорить о вас, о Ксаверне, о ее счастье. Поди ко мне, моя пальма стройная! – добавила гостья, обращаясь к младшей соседке. – Поди, дай мне посмотреть в твои чистые глазки.

¹³ Т. е. «на телеге?»

По полу зашелестело шелковое платье, и опять послышались два долгие звучные поцелуя.

– Где же твой муж? – спросила тетушка.

– Он здоров, тетя, благодарю вас, – р<ані> Софья отвечала и подошла к креслам, на которых лежал ее ребенок.

– Дома он, я спрашиваю тебя? – спросила тетка.

– Нет, тетя, его нет дома.

– Где же он?

– Он... здесь, тетя!

– В Гродне?

– В Гродне.

– И глаза не покажет, хорош!

– Он очень занят, тетя!

– Чем это, моя милая?

– Я, право, ведь этих дел не понимаю.

– Да где же он живет-то? Я очень рада тебя видеть у себя, но зачем же ты к мужу не приехала? А? Скажи-ка ты мне, ты все что-то вышиваешь.

– Нет, тетя, какое вышивание, я просто не знаю, где он живет тут.

– Мать Божья Остробрамская! Молодая жена не знает, где ее муж! Дураки на селе остались, моя коханка, что ты вышиваешь-то!

– Спице вы? – крикнул мне через дверь возвратившийся в свой нумер мой товарищ.

Не желая беспокоить моих соседок, я ничего ему не от-

ветил, но тихонько отпер свою дверь и перешел к моему со-
путнику.

– Пойдемте ужинать.

– Нет, покорно вас благодарю, – отвечал я, – я и обед на-
силу проглотил.

– Да вы где обедали?

Я сказал.

– А я ел отличный обед в клубе и предлагаю вам теперь
идти туда ужинать.

Пошли. Стол действительно хороший и необыкновенно
дешевый. Двое за ужин с водкою и пивом мы заплатили
1 руб. 60 коп., несмотря на то что клуб помещается в доме
Стефана Батория и мы ужинали в комнате, где, по расска-
зам, умер великий король. В Петербурге за эту цену так по-
ужинать невозможно. Особенно мне понравилась опрятная
и вежливая прислуга. М-ме Мильброт, не без пользы для
своего заведения, могла бы прислать сюда нескольких своих
немок поучиться вежливости. Ведь петербургские пролета-
рии, питающиеся на углу Малой Морской и Гороховой, день-
ги же платят за свой стол, а не питаются щедротами г-жи
Мильброт. Отчего это, в самом деле, европейские пришель-
цы так скоро становятся невежами и en canaille¹⁴ третируют
потребителя своей производительности? Воздух такой, что
ли?

Здоровье мое совсем не годилось. Катар усиливается, и я

¹⁴ Подло, низко (Франц.)

могу дышать только раскрывши рот, как окунь, вытщенный на землю.

12-го сентября. Гродно.

Чтобы записать нынешний день, нужно начать со вчерашнего, потому что он начался для меня вчера. Вчера я не заметил одного пустого обстоятельства, которое, в связи с событиями, последовавшими после того, как я улегся в постель и погасил свечу, становится довольно важным.

Когда мы возвращались из клуба, на галерее нас чуть не обварил самоваром Абрам, летевший как на пожар.

– О! Сколько я маю хлопот с теми панями, – сказал он, принеся мне на ночь графин с водою.

– Какие же хлопоты ты с ними маешь?

– Видите, пане, приехала до них какая-то родичка, чи приятелька с малым детком, да и захворали. Вобморок ее зашиб, совсем смертвела. Ай, сколько было хлопот, ай сколько! В аптеку бегал сейчас, попелу (золы) наносил, муштарты (горчицы) принес, самовар изготовил, кадку принес. Ай, сколько хлопот, сколько я маю хлопот, Божи единый знает!

– Зачем ты приносил попел?

– Ванну зараз будут тей пани делать, – отвечу Абрам с секретной миной.

– Ну, иди себе.

– Доброй ночи пану!

– Иди, иди.

– Больше ничего не нужно?

– Да иди, надоел до смерти.

– Надоел! Чего надоел? Пан все шутит с бедного еврея.

– Иди же, Абрам!

– Иду, иду. Прощайте, пане!

Абрам затворил дверь, но тотчас отворил ее снова и сказал: «А як пан что надумает или что потребуется, то я ту зараз в каморке сплю; пусть только пан кукнет – я зараз».

– Иди от меня, Абрам! – крикнул я, окончательно выведенный из терпения.

– Иду, пане; доброй ночи.

«Чтоб тебя черт взял с твоею услужливостью!» – подумал я и запер дверь на ключ.

Спать мне, однако, не хотелось, потому что я выспался днем. Попробовал читать, но это оказалось неудобным, потому что глаза у меня разболелись от жестокого катара и покраснели, дополняя мое сходство с окуном. Я записал четыре последние вчерашние строчки моего дневника, лег в постель и погасил свечку. Вскоре, однако, я удостоверился, что если бы я и способен был заснуть тотчас после освобождения от нашествия Абрама, то этого мне не удалось бы. В номере моих соседок поднялась ужасная возня, о которой могут иметь понятие люди, вкусившие от прелестей семейной драмы. Ночью, когда все кругом спит, каждое движение, каждый звук гораздо слышнее, чем днем, и потому дощатая перегородка и щелистая дверь, отделявшие меня от моих соседок,

как будто вовсе исчезли, и я слышал их в трех шагах от себя. Прежде всего больная гостья брала ножную ванну и жаловалась потом на крайнюю слабость. Ее уложили в постель, и горничная девушка стала выносить воду, а панна Ксавера ходила по комнате, укачивая изредка взвизгивающего ребенка. Но не прошло часа, как с больной сделался жестокий припадок истерики. Я слышал, как тетка и панна Ксавера держали ей руки, как больная дергалась в конвульсиях на скрипучей кровати. Она хохотала, рыдала, звала Генриха, кляла себя, людей... Ужасный припадок! Я в жизнь мою не видал такого жестокого припадка.

Часа через полтора, однако, все утихло; больная уснула, и в комнате только изредка перешептывались, но так тихо, что я ничего не мог расслышать, и сам незаметно уснул. Не знаю, долго ли я проспал, кажется, очень недолго. Меня разбудил слабый детский плач в комнате моих соседок.

– Дайте мне ее, тетя! – слабо проговорила больная.

– Спи, спи, мой друг, я ее закачаю, – отвечала тетка.

– Нет, тетя, дайте; она, бедная, голодна; я покормлю ее.

Тетка подала девочку, и мне было слышно, как стал глотать проголодавшийся ребенок. Каждый глоток материнского молока щелкал ровно и отрывисто, проходя через маленькое горлышко младенца.

Некоторое время продолжалось молчание.

– Что ты из себя сделала, Зося? – сказала, наконец, тетка.

– Что, тетя?

– Страх на тебя смотреть.

– Это вам так кажется. Я совсем здорова.

– Какое там здоровье!

– Право, здорова. Это я немного простудилась, застудила груди, и только. Теперь все пройдет, – добавила она, помолчав немного.

– Вас-то я только перепугала, – проговорила опять больная.

– Полно глупости говорить.

– Право! Сколько хлопот наделала.

– Э! Стыдись.

– Ну, ну, не сердитесь же, тетя моя добрая. А невеста наша спит?

– Спит; что ей пока делается?

– Красавица моя! Какая она милочка; посмотрите на нее, тетя: точно спящий Амур.

– Давно ли ты была сто раз лучше ее.

– Ну где же там лучше, тетя?

– Мне лгать нечего: она мне дочь, а ты племянница.

– Она еще не расцвела, – сказала больная.

– Пожалуй, и не расцветет, а завянет, как ты.

– Далось же вам, тетя, что завяла я, да завяла. С чего вы это берете?

– Будет тоже, может быть, реветь коровою, как ты.

– Тетя! Когда ж это я ревела?

– Знаю, мой друг, все знаю.

– Нечего знать, тетя, – отвечала, вздохнув, молодая женщина.

– А глаза-то с чего запухли?

– От ветра. – Больная сама тихонько рассмеялась над собою и, вздохнув, проговорила: – Что же делать-то, что делать, тетя? Разом ничего не переделаешь: нужно терпение, сила воли, твердость, спокойствие, а последнего-то у меня и нет, в том вся и беда.

– А скоро и здоровья не станет.

– Станет, не бойтесь, кто любит, тот живуч.

– Из какой это книжки?

– Из той, что у меня бьется под ребром.

– А!

– Не сердитесь же, теточка.

– Чего сердиться! Мне просто жаль тебя, бесхарактерную женщину, и только.

– А жаль, так помогите.

– Чем это?

– Дайте 600 рублей?

– На что? На карты? На любовниц?

– Тетя! Тетя! – проговорила больная с упреком. – Ну не хотите дать – не давайте, но не обижайте его; ведь он мне муж, ведь он отец этого самого ребенка!

– Хорош муж! Разбойник!

– Тетя! Ведь я у вас в доме.

Тетка ничего не отвечала, только слышно было, как она

щелкнула табакеркой и протяжно втянула в нос порцию нюхательного табаку.

– Посмотрите, тетя, – тихо проговорила больная.

– Что там?

– Посмотрите, как она сложила губенки.

– Дай, я ее положу к Ксаверне, а ты усни.

– Нет, Ксаверна ее задавит.

– Ну, вот еще!

– Право, задавит.

– Ну, положу на кресла.

– А сами-то где же ляжете?

– Да я посижу, посчитаю нынешние покупки, а там после прилягу хоть у тебя в ногах.

– Смотрите, тетя!

– Что опять?

– Точный отец, дуется, сердится. Ох ты, мое сокровище! –

Мать поцеловала малютку.

– Еще ему дуться!

– Какая вы, тетя, смешная! Разве он не человек?

– Да на кого он имеет право сердиться? На себя разве?

– На себя, на меня, на многих.

– А ты ему какое лихо сделала?

– Да что вы думаете, тетя: я ангел, что ли, небесный?

– Разумеется, с тобой всякий был бы счастлив.

– Ну, это еще не известно. Пан Струтинский, – тихо смеясь, добавила молодая женщина, – говорит, что от такой жен-

щины, как я, можно повеситься.

– А была бы за паном Струтиньским – наисчастливейшая была бы, – отвечала со вздохом.

– Ну, как вы это можете знать, тетя, что я была бы счастлива?

– Вот вопрос! Посмотри-ка, как он дует просто на свою долгоносую жену; пылинок на нее не даст сесть; четверка коней, кочь (коляска), лакей в ливрее...

– Муж глупый, с жидовской душою, с холодным сердцем, – досчитала пани Софья.

– Ну, а у тебя умник?

– А умник.

– С горячим сердцем.

– У! С горячим.

– Только для кого?

– Для всех.

– Кроме жены?

– Как вы знаете это?

– Что ж, я дура, что ли? Или глаза у меня повылезали?

– Вы все преувеличиваете. Положите, сердце мое, Мальвинку, а то ей тут жарко возле меня.

Тетка встала и перенесла ребенка. Произошло длинное молчание, во время которого больная поправилась на постели, а тетка выполоскала рот и, вздохнув очень глубоко, сказала: «Как бы слушалась давно старших, так не ездила бы на возе, не сидела бы без свеч и без чая в нетопленной комнате,

а хоть маленький кусок свой сберегла бы, все-таки была бы какую ни есть панею».

– Прошедшего воротить нельзя, и вспоминать не стоит.

– И теперь бы могла жить еще покойнее. Чего тебе: отец дает флигель отдельный, коней, прислугу, и дети будут спокойны, и ты.

– Нет, тетя, я уж отрезанный ломоть – к караваю не пристану.

– Да чем же это кончится?

– Чем Бог даст, а лучше станет.

– Имение промотал.

– Ну, так что же?

– Твое промотал.

– То есть не умел распорядиться.

– С этого места теперь сгонят.

– Отчего же? Помещик им очень доволен; ну, а не это место, так другое будет. Плакать не станем.

– Да двух старших за руки, а Мальвинку за пазуху, да и в поход! – иронически и даже злобно сказала тетка.

Больная долго молчала и потом, вздохнув, спросила спокойно и решительно: «Чего же вы от меня хотите? Что, по вашему, я должна делать?»

– Забирать детей и ехать к отцу.

– Нет, этого я не сделаю.

– Ну, и голодай сама, и мори детей.

– У детей есть все, что им пока нужно.

– А у самой что осталось?

– Тетя! Отчего вы мне этого не говорили, пока у нас была Кастановка?

– Тогда не то было.

– То же самое.

– По крайней мере, ты жила пристойно; на возе не ездила.

Тогда можно было еще ждать лучшего.

– Я и теперь жду лучшего и верю, что оно придет.

– Когда рак свистнет.

Больная сделала движение на кровати, которая резко скрипнула.

– Боже мой! – сказала она, – да неужели дети мои будут счастливее, если я разлучу их с отцом, которого они любят и который их любит!

– Как он их любит?

– Как умеет, так и любит; больше, может быть, чем думают.

– А о себе ты не думаешь?

– О себе?

– Да, о себе?

– Позвольте, тетя: я вас не понимаю. Мое счастье в том, чтоб воспитывать детей и видеть их вместе с их отцом, который знает, что у него нет большего друга, как я.

– До встречи с первой юбкой.

– Он человек, в котором не воспитана воля, но он знает свои пороки, он любит детей, он страдает, он хочет быть

иным человеком.

– Пусть по-твоему; пусть исправляется, но пока что будет, не мучь же ты себя.

– Чем?

– Нуждою.

– Тетя! Что вы обо мне думаете?

– Как что?

– Что я такое: жена или *содержанка*? – Больная сделала ударение на последнем слове. – Ведь только содержанки живут, пока хорошо живется, а жены так не делают.

– С тобой не сговоришь, – отрывисто ответила тетка.

– А правда, что не сговорите, тетя; ложитесь лучше спать.

– Спи с Богом!

– Благодарю, тетя! – Кровать опять скрипнула, и в комнате настала совершенная тишина, только изредка раздавались сдержанные вздохи больной, да панна Ксавера два раза рассмеялась сквозь сон. Спала ли панна Софья, Бог ее знает; но я имею основание в этом сомневаться, потому что слышно было, как она беспрестанно ворочалась на постели. Разговор этот меня очень встревожил, но я заснул, когда было уже совсем светло. В 7 часов кто-то постучался в мою дверь. Отпер – смотрю, Абрам, и с самоваром в руках.

– Зачем так рано?

– Чем рано, пане?

– Семь часов.

– Ну! Восьмой час. А я скажу пану: какой я презент (по-

дарок) пану приготовил!

– Какой презент?

– Ну, уж пан увидит, – и Абрам, захватив мои сапоги и платье, убежал, оставив самовар без чайного прибора.

Через пять минут после выхода Абрама дверь снова отворилась и молодая полненькая еврейка внесла поднос с чайником и двумя стаканами.

– День добрый, пану! – сказала она прежде, чем успела дойти до стола, на котором стоял кипящий самовар.

– День добрый, – отвечал я, поднимая на голову свое одеяло.

– Залить пану чай?

– Нет, благодарю: я сам залью.

– Зачем беспокоиться! Простудиться можно, – улыбаясь, отвечала еврейка и, не говоря ничего более, заварила чай.

– Не вставайте; я вам налью чаю.

– Нет, благодарю; я не пью, не умывшись.

– Але ж сапог нет, – отвечала она, снова лукаво улыбаясь, – простудит пан ноги.

– Пошлите мне Абрама.

– Абрама?

– Да, Абрама.

– На что пану тот Абрам?

– Пожалуйста, пошлите.

– Хорошо, я пошлю.

Еврейка пожала плечами и, сделав презрительную улыбку,

ку, вышла из комнаты.

— Чего, пану? — крикнул Абрамка, вскочивший с несколько сконфуженным лицом.

— Во-первых, тише говори, потому что здесь кругом спят люди; потом сейчас принеси мои сапоги и затем не смей показываться, когда я тебя не зову.

Абрам ушел молча, принес вычищенные сапоги и не явился даже убрать самовар.

В 10 часов пришел К—ч, и мы отправились смотреть развалины Коложи. Коложею здесь называются остатки православной церкви, выстроенной пленными калужцами. Впоследствии эта церковь принадлежала базилианам, а потом совсем упразднена и теперь находится в таком положении, что поправить ее или хотя как-нибудь поддержать совсем невозможно. Обрывистый берег, на котором стоят остатки гродненской Коложи, ежегодно осыпается и уносит с собою часть развалин. Стена, обращенная к реке, уже упала вниз, и только куски кирпичей, застрявшие в береговых углублениях, свидетельствуют о пути, по которому стена летела к Неману. Остальные три стены дали очень широкие трещины и тоже угрожают неожиданным падением. Внутренность Коложи испещрена круглыми отверстиями: это горшки, вмазанные в стены вместе с кирпичами. Один из этих горшков я видел в виленском музее. Цветом он очень напоминает муравленый русский горшок, а фигурою похож на молочные кубаны, которые делают около Кром, в Орловской губернии. На

одной из наружных стен Коложи есть кресты, сделанные из вставленных между кирпичами поливных зеленых кафель. Около Коложи есть сад, совершенно запущенный, дом, где жили последние базиляне, тоже запущенный, и огороды. Говорят, что отцы базиляне и на бесплодной гродненской почве умели получать прекрасные садовые и огородные плоды, держали красивый рогатый скот и славились своим гостеприимством и хлебосольством. Теперь здесь кругом все пусто и бесцветно; на огороде виднеются тощие кочни капусты, и ветер стучит кусками отстающей крыши. В хате со въезда мы нашли одну бабу, которая ничего не умела нам рассказать. Поля, по которым мы приезжали от города к Коложе, засеяны картофелем. Грунт такой же белый и холодный, как и по всему литовскому тракту. В Гродне есть улица, называемая «Калужскою». Полагают, что здесь жили калужане, приведенные в плен литовцами. Ни порядочных магазинов, ни красивых улиц в Гродне я не видал. Дом губернатора, низенький, одноэтажный, очень характеристичен. Он еще старой литовской постройки. Торговой жизни в Гродно вовсе не заметно, и вообще, по мнению обывателей, город этот не имеет будущности и во многом уже уступает Белостоку, отстоящему от него на 75 верст по Варшавской железной дороге. Побродив по улицам, в 2 часа мы зашли обедать в клуб. Здесь есть даже русские газеты: «Петербургские ведомости», «Искра» и «Журнал министерства народного просвещения». За очень хороший обед, две рюмки старой водки и 2 бутыл-

ки хорошего пива с нас взяли 1 р. 80 копеек. Непонятная дешевизна в голодном крае, в городе, живущем исключительно привозным издалека хлебом, который теперь становится дороже, потому что Варшавская железная дорога увеличила потребности съестных припасов, но, проходя по местности бедной и не соприкасаясь с пунктами, производящими от-пуск хлеба, нимало не способствует увеличению продовольственных продуктов.

Находясь еще под влиянием впечатлений прошедшей ночи, я спросил К—ча: «Как развивается в польском обществе идея о женской эмансипации?»

— Да как видите в литературе.

— Ну, я не могу сказать, что знаю польскую литературу.

— В беллетристике можно ясно видеть положение этой идеи.

— Да если судить по беллетристике, так мы вас опередили.

— Чем это?

— У нас женский протест необыкновенно силен.

— Положение, верно, хуже.

— Ну, нет, этого сказать нельзя.

— В чем же протест?

— Свободы требуют.

— Какой свободы?

— Независимости чувству, уничтожения обязательных отношений.

— Разводов хотят, что ли? Или брак совсем долой?

– Я до сих пор еще не видал ни одной русской протестантки, которая уяснила бы мне, чего она хочет, – отвечал я.

– У нас этого нет. У нас, конечно, случается всякое, люди не ангелы; но женщина крепко держится семьи и мужа.

– Это, может быть, женщины стародавнего покроя?

– Нет, и молодые. Развод у нас невозможен, и случаи разводов очень редки.

– А житье врознь?

– Необыкновенно редко, и то у магнатов: а в среднем классе и в низшем едва ли встретите.

– Стало быть, в семьях все рай земной?

– Ну, рай не рай, деваться некуда. Наши женщины в семье необыкновенно терпеливы, тягучи, сносливы. Они, пожалуй, биготки; у них есть много странностей и недостатков, вследствие которых они дома не так обаятельны, как на бале. В раю с ними себя не всегда почувствуешь, – добавил К—ч, улыбаясь, – но зато всегда почувствуешь себя возле жены дома. Они не любят проводить век в сборах и, войдя в дом мужа, раз навсегда входят в права жены. О! Наши женщины сами немножко деспотки; чего им эмансипироваться?

– Деспотки?

– То есть, как деспотки! Видите, здесь жене не приходит в голову мысль расставаться. Разве негодяй-муж ее бросит, а сама она к разлуке шага сделать не задумает. Наши женщины очень серьезно смотрят на...

– Ну, а если в семье нет лада?

– Она станет искать его.

– А как не сыщет?

– О! Это очень редко. Я вам говорю, они необыкновенно тягучи. Они переиспытывают все средства и не теряют надежды даже тогда, когда ее уже, кажется, совсем нет.

– Но есть же исключения? По некоторым данным можно с вами не согласиться, – сказал я, припоминая двоих моих знакомых, вывезших жен из Варшавы.

– Исключения есть везде, но, надеюсь, мы говорим не об исключениях. Развратные жены есть и в Америке; но американская беллетристика не переполнена ими именно потому, что экземпляры эти суть исключения. Наша литература тоже свободна от требований вашей темной эмансипации, потому что в обществе нет этого требования.

– Так у вас парижским бракам не сочувствуют?

– Положительно нет. Наши женщины слишком знают жизнь и не поставят на карту ни себя, ни детей. Э! Да у нас об этом и разговоров нет, – добавил К—ч, махнув рукою.

Диковинное дело! В половине варшавской чугунки уже не верят в социализм и не ждут счастья от брака вне брака. А по обоим концам Николаевской железной дороги немало людей, которые очень легко верят первому, и еще больше таких, которые ждут всего хорошего от второго. За Москву, к Курску в одну сторону и к Саратову в другую, над социализмом подсмеиваются; но из трех дам, встречающихся в любой гостиной, одна непременно уверена, что все несчастья чело-

веческого рода происходят от того, что существует брак, или, яснее выразиться, что женщина не может, по своему произволу, сходиться и расходиться по первому желанию, не неся за это никакого упрека от общества. Нынешним летом я ехал в дилижансе по выходящему из Москвы шоссе. Со мною ехали три незнакомые, еще довольно молодые дамы. В разговорах мало-помалу оказалось, что все они замужем, и все не живут со своими мужьями. Сверх того, каждая из них еще вспомнила, по крайней мере, трех своих приятельниц, которые *тоже* с мужьями разъехались.

Экая благодать какая! Интересно было бы собрать сведения, как это идет: из провинций ли в столицу собираются особы, не годные к сожителству в браке, или столицы служат для них рассадниками?

13-го сентября. Гродно.

Вчера мы не выехали. Зато я ночью прекрасно выспался и вдобавок видел наяву пани Софью, которую, до разговора с К—чем, считал «последнею из могикан» в своем роде. Видел я ее вот каким образом: только что я возвратился после обеда из клуба, Абрам приотворил дверь на один дюйм и, просунув нос, прошептал:

– Позволит мне пан войти?

– Ну, входи, – отвечал я съезжившемуся метрдотелю.

– Что я пану скажу, – начал он шепотом, подступая ко мне на цыпочках.

– Презент, верно, еще приготовил?

– Ай! Где ж там презент! – отвечал Абрам, махнув отчаянно рукою. – Чи пану не нужна другая кровать?

– Видишь, что она пустая. А тебе что?

– Видит пан што, – продолжал Абрам шепотом, – у тех пань, что вот в этом номере, нет кровати.

– Возьми, пожалуйста.

– От, покорно благодарю, покорно благодарю.

Через две минуты Абрам уже говорил за дверьми: «Нашел! Але сколько я бегал! Сколько искал! Нехай Бог боронит. Зараз внесу». В ту же минуту крючок вверху двери щелкнул, и двери распахнулись. Прямо против моего дивана, за маленьким столиком, у окна, сидела молодая брюнетка, с немного желтоватым, болезненным, но прекрасным лицом. Она была в черном шерстяном платье: на шее у нее был большой платок, вязанный из черной и белой шерсти. Платок этот был натянут на левое плечо и закрывал от окна головку лежащего на коленях ребенка, а в правой руке она держала ниточку, с привязанным на ней колечком слоновьей кости. А в номере у них, кажется, такой же холод, как и у меня. Тетки и панны Ксаверы не было целый день; они приехали уж вечером.

– Вот тебе одно, а вот и другое, – сказала тетка, входя в номер.

– Тетя! Дуся моя! – послышались поцелуи, и пани Софья разрыдалась. Насилу ее уговорили; она плакала от радости и

через полчаса уехала, уверяя, что она очень здорова. Тетка, однако, отправила ее в своей найточанке. Я смотрел, как она торопливо усаживалась и, кивнув головой тетке, крикнула кучеру: «ruszaj!» (ступай).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.